

Тихо шелестят страницы. Книга незаметно уводит от нынешних дней. Вот над прошлым поднимается занавес, украшенный символической белой птицей и перед глазами медленно проходит бесчисленная вереница людей. Вот проходит грустная, подбитая жизнью «Чайка». — Нина Заречная, проходит Треплев, проходят Соня, Астров, Войничкий, Тузенбах, Вершинин, заплаканные три сестры, слезообильная Раневская и многие другие, бывшие хозяева «Вишневого сада». Проходят они, глядя на мир грустными, наивными глазами, эгоистичные как дети, сентиментальные, безвольные и дряблые.

Кажется, что где-то вдали тихо играет музыка и где-то в саду раздается глухой стук топора, вырубавшего старое дворянское гнездо. И вот нет уже больше «Вишневого сада». Все вокруг странно, неприятно, неподвижно и бесцветно. Пустынен горизонт, одинокая мельница с непонятной мольбой о какой-то пощаде протерла крылья, поля слились вдали с бледным небом и все дышит тоскливым холодом одиночества.

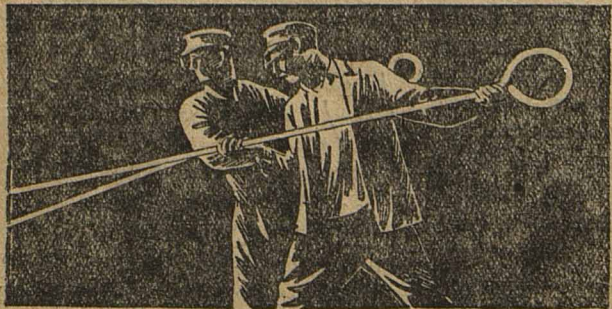
С подобным ощущением, молча расходился из театра, лет 30 назад, старые русские интеллигенты с любовью и страданием смотревшие «Вишневый сад», пейзажи Левитана и с грустной сосредоточенностью слушавшие музыку Чайковского. Грусть эта вытекала из народной подавленности и была обусловлена зажимом не только всего общественного, но и всякого живого проявления народности.

Тихо шелестят страницы. Вереница людей продолжает двигаться. Вот идет помещик Грыбов, издававшийся над беспомощной женщиной, тащится человек в футляре — учитель Беликов, вот идут друг за другом почтово-телеграфные чиновники, прищипывающие репортеры, аптекари, певички, геморроидальные бухгалтеры, присяжные поверенные, мечтательные зубные врачи, титулярные советники, учителя, акцизные чиновники, провинциальные актеры и прочие интеллигентные люди Российской империи.

И вот случилось, что «мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал: «Скверно вы живете, господа! Стыдно так жить...»

Человеком, сказавшим эти слова, был великий русский писатель, таганрожец, Антон Павлович ЧЕХОВ. Однако, далеко не все поняли, что Чехов прочел отходную умирающему помещику землевладению и что он, рисуя картины уныния, безнадежности и пошлости, не был, однако, пессимистом. Многие отождествили чеховщину с самим Чеховым, восприняв его, как певца полувывисанной грусти, тоски бездорожья, засасывающей тины пессимизма, как певца хмурых, вечно неудачливых людей.

Опавшие осенние листья. Увядавшие иллюзии. Тихий пруд. Разбитое горлышко бутылки



Работа сталеваров у мартеновской печи.

Писатель глу

на плиту, отразившее мертвый луч луны. Песня за рекой. Грустный левитановский пейзаж. Венки искусственных астр. Книжная полка. Лампа под зеленым абажуром. Все эти аксесуары опозитивированной грусти, игравшие в произведениях Чехова не самодавлеющую, а чисто служебную роль, ввели многих в долготное досадное заблуждение.

Заблуждение это, совершенно напрасно, сдало имя Чехова нарицательным для клинических настроений, болезненного пессимизма, в то время, как рассказы его с необычайной силой и яркостью вскрывали мерзость русского быта, воспитывали новое поколение в лютой ненависти к чиновникам Лаевским, профессорам Серебряковым, людям в футляре и звали к лучшему будущему.

Максим Горький писал по поводу повести А. П. Чехова «В овраге»: «страшная сила его таланта именно в том, что он никогда ничего не выдумывает от себя, не изображает того, чего нет на свете... Каждый новый рассказ Чехова все усиливает одну глубоко умную и нужную для нас ноту — ноту бодрости и любви к жизни... В новом рассказе трагическом мрачней до ужаса, эта нота звучит сильнее, чем раньше и будит в душе радость...»

Основным направлением в творчестве Чехова была не тоскливая и ноющая поэзия, а изображение скудости, грубости и бессмысленности жизни, так называемого русского общества, жизни под сапогом отсталой полицейской государственности, убожества и бедности мелкобуржуазной интеллигенции, потерпевшей жестокий крах и растерявшей под обломками обветшалого народнического мировоззрения веру в себя, в народ, в идеал.

«До ужаса, до ослепления ясно вы видите — пишет Чехов в одном из своих произведений — как тина нищей, безыдейной жизни затягивает человека, как все глубже и глубже погружается он в предательское болото житейских мелочей, дрызг, сплетен, пересудов. Сначала он барахтается, кричит о помощи, проклиная, но понемногу тупое рав подушие начинает овладевать им. И тут он погиб, и тут уже нет силы на земле, которая могла бы спасти его».

Пошлость, хамство, хищничество, страх за свое обывательское благополучие — вот, что вывалилось из вспоротого полицейским террором чрева безвременья восьмидесятых годов. Тошноты, худосочные, глашатаи «малых дел» и «малых добродетелей» творили свою мышиную возню на общественной арене, готовые трусливо замереть при первом окрике городского. «Вся Россия — говорил, глядя на них Чехов — страна каких-то жадных и ленивых людей... Психология у них собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки вверх и виляют» (из воспоминаний Максима Горького о Чехове).

Что и как мог писать Чехов об интеллигенции восьмидесятых годов, не сумевшей нащупать твердого исторического пути, который вел к рабочему движению, об интеллигенции, к которой принадлежал сам Чехов? Комедию? Трагедию? Драму? Чехов сделал последнее. Он всю жизнь писал потрясающую драму «одиноких людей», писал на материале общественного разложения, каким и был растерянный одинокий интеллигент.

Но примирялся ли Чехов с этой растерянностью, гримасами николаевского самовластия? Любил ли он эту Россию, служившую символом произвола, полицейщины, циничного жандармского издевательства, низкопоклонства,

подхалимства и заносчивости? Нет! На Россию смотрел Чехов, как на тюрьму и не любил ее настолько, что будучи за границей не хотел возвращаться домой. Он символически показывал эту Россию в рассказе «Палата № 6» и не только проклинал безвременье, но показывая в своих произведениях, как в зеркале, его жуткие гримасы, отталкивался от него, пытаясь его преодолеть.

Царские сатрапы, реакционеры и мракобесы прекрасно понимали силу пера Чехова. Не случайно «Русское обозрение» вернуло писателю ненапечатанным одно из значительнейших его произведений — «Палату № 6», написанное в 1892 г. В этом произведении Чехов поднял голос протеста, изобразив Россию в виде сумасшедшего дома и резко заклеймил обывательщину и ее идейное убожество.

Наш город — Таганрог того времени — также послужил Антону Павловичу Чехову материалом и не только для того типичного пейзажа городской провинции, который мастерски изображен Чеховым в высказываниях героя «Моей жизни», но и для изображения ничемности жизни и стремлений, так называемого русского общества того тяжелого времени в России, когда пошласть ломила все.

«Я любил свой родной город — говорит А. П. Чехов о Таганроге того времени устами одного из своих героев... но люди, с которыми я жил в этом городе были мне скучны, чужды и порой даже гадки. Я не любил и не понимал их. Я не понимал для чего и чем живут все эти 65 тысяч человек... Большая Дворянская и еще две улицы почище, жили на готовые капиталы и на жалованье, получаемое чиновниками из казны, но чем жили остальные восемь улиц, которые тянулись параллельно версты на три и исчезали за холмом — это для меня всегда было непостижимой загадкой. И как жили эти люди, стыдно сказать! Ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра; богатые и интеллигентные спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами... ели невкусно, пили нездоровую воду... Во всем городе я не знал ни одного честного человека... Лишь от одних девушек веяло нравственной чистотой: у большинства из них были высокие стремления, честные и чистые души, но они не понимали жизни, и верили, что взяты даются из уважения к душевным качествам и выйдя замуж скоро старились, опускались и безнадежно тонули в тине пошлости, мещанского существования».

В другом произведении («Крыжовник») Чехов пишет все о том же Таганроге: «...наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, темнота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье! Между тем, во всех домах и на улицах — тишина, спокойствие, из 50 тысяч живущих в городе, ни одного, который бы выкрикнул, громко возмутился... Все это спокойно и протестует одна только немая статистика: столько то с ума сошло, столько то ведров выпито, столько то детей погибло от недоедания».

Сколько отвращения и ненависти в этих словах о Таганроге, к тогдашней России! Сколько обиды за оскверненную жизнь! Не чернилами писаны эти строки, а серной кислотой! Никак нельзя посчитать их за признак покорного примирения с окружающей средой и порядком. Жгучее желание оттолкнуться от этой среды, преодолеть этот порядок сквозит и в ряде других произведений Чехова.

Конечно, в этом желании не было активности человека, хорошо знающего куда он

ПРИСОН бокого упрека

идет и чего он хочет. Чехов честно ненавидел свое время, но КУДА из него выйти, КАК и какими путями, С КЕМ и в КАКУЮ «Москву» ехать—этой ясности понимания не было дано Чехову, крепко связанному социальными корнями с своими лучшими и даже светлыми героями, но неизбежно гибнущими подобно Треплеву и Нине («Чайка») в атмосфере пошлости.

Вот почему у Чехова такие крайности в изображении—с одной стороны—гады самодержавного болота, гнусные порождения безвременья, а с другой—прекрасные люди, которых жалко и с которыми вместе плакал и Чехов. И его лучшие сентиментальные современники. Выразаясь словами покойного А. В. Луначарского, Чехов «Вел оборону прекрасной души от пошлости и эта оборона была единственной формой его наступления». (А. В. Луначарский. «Станиславский, Театр и Революция»).

Чехов был либералом. У него не было такого тонкого социального слуха, такого обостренного социального зрения и такой классовой ярости, какие были необходимы для того, чтобы в его произведениях и в его пьесах (ставившихся почти в одно время с пьесами Максима Горького) можно было услышать крик бури. Да и откуда могло быть? Среда промышленных рабочих осталась до конца мало знакомой Чехову. Но за то у него были: хорошее понимание деревни, давнее ему возможность трезвого, правильного и далеко не аполитичного показа обреченной на разложение старой деревни («Мужики»), прекрасное знание дореволюционной интеллигенции и достаточно чувства общественной «совести», что бы тоном глубокого, идущего от оскорбленных чувств, упрека, во всеулышание, на весь мир заявить: Скверно вы живете, господа! Стыдно так жить!

Лучшие чеховские герои много мечтают. Мечтают три сестры, мечтает Нина Заречная, мечтают Астров и Вершинин. Уставшие от пошлости, несчастные от непонимания и неумения бороться, многие чеховские герои грезят о прекрасной жизни лет через 100—200. «Лет через сто-двести жизнь будет прекрасна!»—говорит Вершинин в «Трех сестрах».

В пьесах Чехова не указано, как же реально подойти к этому прекрасному будущему, какие реальные силы приведут к нему, но это далеко не значит, что Чехов солидаризировался со своими героями мечтателями, полагавшими, что только лет через 200—300 земля обратится в цветущий сад.

Чехов, особенно в последний период своего творчества, прекрасно знал цену розовым иллюзиям позднего народничества, мистическому фимиаму декадентов и толстовству с его теорией личного, нравственного, самоусовершенствования и опрощенчества, о котором Чехов, кстати сказать, писал: «Я считаю, что в паре и электричестве заключено больше любви к человечеству, чем в воздержании от мясной пищи и целомудрии».

«Принято говорить—пишет Чехов в рассказе «Крыжовник» — что человеку нужно только три аршина земли. Человеку, а не трупу нужны не три аршина и усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свои свойства и особенности своего свободного духа». Чехов не согласен ждать 100—200 лет. Он устами ветерана Ивана Ивановича («Крыжовник») ставит вопрос в упор: «Во имя чего ждать?... Во имя

каких соображений ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить».

Многим героям Чехова будущее рисовалось в светлом, хорошем привлекательном свете. Один из них говорит: «Когда я подумаю о будущем, то так хорошо становится, так легко, так просторно. Вдали забрезжит свет. Я вижу свободу».

Пусть эта свобода не та свобода, которой добивались лучшие люди тогда еще только социально формировавшегося рабочего класса, пусть эта свобода от грязной изнанки жизни тогдашних проповедников мещанской добродетели, свобода от жизненной пошлости, но все же вера в нее не имеет ничего общего с приписываемым Чехову упадническим отчаянием. Наоборот, в словах Чехова о будущем звучит твердая вера в силу и неизбежность культурной революции.

Мы уже видим рассерженные лица любителей не Чехова, а «чеховщины», всех тех, кто считает его художником гнетущего, опустошающего, однообразия житейской обстановки. Их вопрошающие лица говорят:—Позвольте, а, как же спавшие листья, увядшие иллюзии, тихий пруд, грустный пейзаж, высохшие венки, как же с тихой прелестью чеховской грусти? Мы можем ответить им:—вас обманули ваши глаза и уши! Вы спутали героев с автором. Чехов показывал пошлость жизни, грусть людей не нашедших выхода из грязи безвременья, но это не значит, что автор любил своих героев. Многих из них Чехов ненавидел, а вот вам их клинический пессимизм почему-то показан изящным. Вы ошиблись Чехов не был пессимистом и твердо верил в освобождение от жизненной пошлости!

Не дожидаясь до первой революции, но чувствуя ее неизбежность, Чехов проникновенно указал и предсказал отношение к ней многих своих современников тогда казавшихся передовыми людьми, в таком своем письме: «Великие события застигнут нас врасплох, как спящих дев и вы увидите, что купец Сидоров или какой-нибудь учитель из Ельца, видящие и знающие больше нас отбросят нас на самый задний план, потому, что сделают больше, чем мы все взятые вместе. И прежде чем заблестит заря новой жизни, мы обратимся в злобных старух и стариков и первые с ненавистью отвернемся от этой зари и пустим в нее клеветы».

Разве это не пророческие слова? Разве не так было? Где оказались, когда раздались первые удары грома, И. Бунин, А. Куприн, Л. Андреев, Бальмонт и многие другие? По какую сторону баррикад очутились все эти современники А. П. Чехова, красиво говорившие над его, тогда, накануне первой революции, еще свежей могилой? И разве не они первые запустили в революцию комьями грязи и клеветы?

Комья брошенной грязи упали и на могилу А. П. Чехова, как мечь ему этих врагов революции за то, что он, хотя и мертвый, но с нами, за то, что его имя большого писателя уважается в нашей стране, за то, что у нас читают и изучают Чехова не по старому трафарету, как певца упадочной дореволюционной интеллигенции, а как большого писателя, с большим полетом культурной творческой мысли, в то время, как они еще многие живые, преданы забвению и осуждены гнить в амитантском болоте.

Это их ненужные жизни, горящие болотными огнями, так хорошо разоблачал Чехов. Это о них правдивые слова сказал Максим Горь-

кий в своих воспоминаниях о Чехове: «Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли, идут рабы темного страха перед жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем—нет им места. Иногда в их серой массе раздается выстрел—это Иванов или Треплев, догадываясь, что им нужно сделать, и—умерли».

Лишние люди!... Как это дико звучит в наше время, это нелепое, уродливое сочетание понятий. Лишний человек! Нет им в наше время не может быть рабочий, колхозник, честный трудящийся советский интеллигент. Посмотрите на людей нашего времени и как они изображены в литературе.

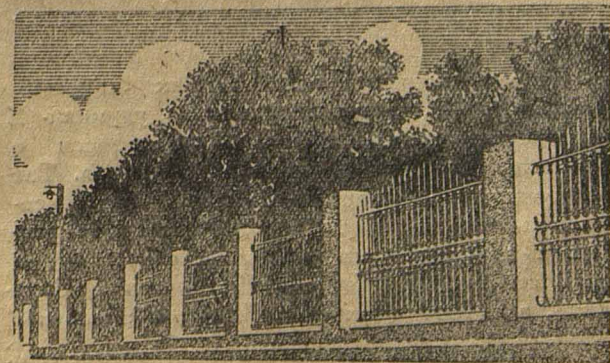
Началась наша статья с изображения шествия чеховских героев. Разрешите закончить ее демонстрацией героев нашего времени... вот идет Кожух из «Железного Потока», идут «Бойцы» Ромашева, горьковский Рябинин, славная, прекрасная молодежь—«Чудесный сплав» нашего времени, пробегают стайкой «Двушки нашей страны», проходят герои «Станицы» Ставского, его «Разбега» в лучшую зажиточную жизнь, герои «Поднятой целины» Шолохова. Вот пролетают герои-летчики и проходят герои-челюскинцы. Следом за ними идут миллионы трудящихся, свободных, советских людей: рабочие, колхозники, вузовцы, инженеры, врачи, техники, красноармейцы, командиры, ученые, писатели, партийные работники, кооператоры, комсомольцы, пионеры, октябристи с песнями...

Все это идет и движется в труде, в борьбе, в заботах о своем и общем деле. Все они не просто делают, а знают, что делают свою жизнь. Бодрость, радость, оптимизм—вот психологический тон этих людей, покрывающих страну свою сетью заводов, электростанций, железных дорог, колхозов, осваивающих технику, строящих все, от блюминга до швейной иглойки, из своих материалов, на своих заводах, своими руками, посылающих своих детей, свою молодежь в школы, техникумы, в институты, в ВУЗы.

Чехов мечтал о прекрасном утре людей. Оно пришло НАШЕ утро и действительно прекрасное. Чеховское время, заклеенная Чеховым, тоскливая жизнь хмурых людей—ушли безвозвратно. Их нет давно и в его бывшем родном городе. А жгучее, позорное клеймо, поставленное великим писателем на пошлости и мещанстве, помогает нам распознать их остатки для того, чтобы вырвать их с корнем из нашей жизни.

Пусть же нарисованные Чеховым картины безвременья, слабости, гнили, мрази, разложения, мещанства и пошлости, еще ярче оттеняют свободу и радость советских людей, своими руками строящих себе прекрасную жизнь, к которой ведет их партия.

ТАГАНРОГ 1934 Г.



Решетка городского сада в Таганроге.